

Владимир Коробов

ШУКШИН



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2022

УДК 791.43
ББК 85.373(2)
К 68

Вступительная статья В. Я. Курбатова

Коробов В. И.

К 68 Василий Шукшин: Вещее слово / В. И. Коробов; вступ. ст. В. Я. Курбатова. — М.: Молодая гвардия, 2022. — 442 с.

ISBN 978-5-235-04518-7

Книга о выдающемся актере, режиссере и писателе Василии Шукшине написана на основе большого документального материала и глубокого анализа литературных произведений оригинального прозаика — причудливого мудреца, неудачника в обыденной жизни, мечтателя и своеобразного философа, обитающего в глубине народа.

Автор жизнеописания, Владимир Коробов, как и его герой, прожил короткую, но яркую жизнь.

УДК 791.43
ББК 85.373(2)

ISBN 978-5-235-04518-7

© Коробова А. Н.,
Кудрявцева А. В., 2022
© Издательство АО «Молодая
гвардия», художественное
оформление, 2022

«НЕ СБЕРЕГЛИ...»

Горький путь предстоит пройти читателю этой книги. Тому, кто первый раз пойдет. А уж кто ходил (книга издается четвертый раз) и теперь решил оглянуться на себя и на него (проверить, что переменялось за прошедшие годы?), тому, может быть, покажется и еще тяжелее, потому что станет особенно видно, как далеко мы ушли от пути, который искал Василий Макарович Шукшин и который мы узнавали в нем, как свой.

А мне больно еще и оттого, что, встречаясь с автором этой книги Владимиром Коробовым на молодых критических семинарах 70-х годов, я как-то проглядел его умную простоту и серьезность, которые как раз лучше всего выговорились в этой доверчиво открытой и очень шукшинской книге. Как бы тогда и потом лучше работалось в единомыслии и, может, теперь бы читалось спокойнее без резкого чувства утраты (а то сквозь раннюю смерть Шукшина видишь и раннюю смерть Коробова: один умер в сорок пять лет, другой — в сорок восемь), и это удваивает драматизм книги и обостряет чтение.

И, может, от этого я теперь сразу вижу, что главная и дорогая тайна этой книги в том, что автор шел за героем и «рос» с ним, вглядываясь в мучительное начало его биографии и медленное прораствание судьбы. Торопился ободрить, поддержать, защитить своего героя от критики, «объяснить» читателю мысль Василия Макарыча, так что иногда объяснение оказывалось больше самих рассказов, как в комментарии к рассказу «Миль пардон, мадам!» или в защите холодно принятого критикой романа «Любавины». Коробов выхватывает дорогие цитаты, как козыри: а вот! а вот! Он и этому

научился у Шукшина, потому что и тот вскидывался, видя непонимание и срывая сердце, выговаривал обиду: «Не сумел я, что ли?.. Нет, если не видно, то и не видно, черт с ней. Странно только, я думал, это видно». И Коробов торопится обнять своего героя: «Да брось, дураки они все! Видно! Видно всё, что ты хотел! Вот я же вижу! Что тебе, мало?»

И так от страницы к странице глубже и полнее, пока они не сольются в одно сердце и всякое слово наполнится печалью и силой. И смотришь, уже и сам отложил книгу и вспоминаешь свое давнее чтение книг Шукшина, и опять в тебе все болит, как тогда, и хочется добавить в сто шестьдесят тысяч писем, пришедших в редакции после смерти Шукшина, и свое письмо. Сто шестьдесят тысяч, где и читатели тоже норовили сказать: «Да брось, не слушай ты их. Видим мы! Видим!»

И одно из этих писем все нейдет у меня из головы (так оно точно) — от Маргариты Ушаковой из Волжска: «Пусть 9 мая каждого года в Сростках, когда будут читать списки погибших воинов, прочтут и имя Василия Макаровича Шукшина. Он жил и умер как солдат». Подлинно, подлинно — солдат! Да только не читают сегодня эти списки. Не читают.

И опять покойного разговора о книге не выходит, как, боюсь, и у читателя не выйдет. Опять тебе, как всегда с Шукшиным, не до литературы.

Так гляжу как-то: лежит в магазине пятый том шукшинского собрания сочинений, выпущенного еще в 1992 году в Екатеринбурге, — кирзово-фуфаечный, забытый, видно, бедноватый в оголтелом (голотелом) окружении зазывных, броско-наглых обложек, и даже на взгляд там ему неудобно. Догадываюсь, что когда ночами повторяется история его горькой сказки «До третьих петухов», в которой Иван-дурак, оставляя на библиотечных полках своих серьезных «коллег», идет по их просьбе добывать справку, что он умный, этот невзрачный том «наводит шороху» среди обложечной шушеры, так что перед открытием магазина эти «Лакомые кусочки» и «Рабыни секса», «Дьявольские уловки» и «Поцелуи на краю смерти» все, как одна, оказываются на полу. Но днем они свое возьмут. Новый читатель, уже успевший втянуться в этот глянцевоый, хищно рвущий внимание мир, обойдет бедную обложку, как придорожный камень.

Так что же? Всеу свое время под солнцем? И забвение, подкрадывающееся к Шукшину, естественно: другие време-

на — другие песни? Нет, тут эстетическим вздохом не отделаешься: за ним не то что не вся правда, а, кажется, и вообще правды нет. В этом наглядно подступающем забвении есть кое-что посуущественнее и поболезненнее для каждой души. И речь не о старении творчества хотя бы некогда и очень близкого художника, а о состоянии нашей души, нашего народного сердца, нашего национального ума. За трескотней о возрождении России (кого ни возьми — всяк за возрождение: и президент, и противники президента, и предприниматели, и торговцы рабочей силой) мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а как-то исподтишка подменили пустой оболочкой, лубочной картинкой, и вот дивимся, что ничего у нас не выходит. Чтобы скрыть внезапно обнаружившуюся пустоту, стали русского мужика где поглубже искать: одни во временах Калиты и Ивана Васильевича, а другие — в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина. Свой, недавний, оказался негоден для реформаторской переработки, слился в какого-то плакатно-безликого «колхозника», который гирями повис на ногах преобразователей и не давал шагу ступить. А поскольку именно этого неудобного для социальных экспериментов мужика писала «деревенская литература» и именно в нем мы наконец после всех идеологических обмороков стали различать свои настоящие корни и во всех передрыгах уберечься голос живой традиции, то, значит, пришлось заодно и «деревенскую литературу» освистать, нарочито опорочить ее как «казенную» и «поощряемую государством».

Для такой постыдной работы ума много не надо и охотники нашлись скоро, но расплачиваться за эту открытую ложь придется всем, в том числе и самим иронистам, если они не успеют переменить отечества (у них это быстро). С бумажным мужиком много не поработаешь — все равно придется к реальному на поклон идти, а для этого его надо видеть и знать. Можно хлопотать о фермерстве, о частной собственности, о новых принципах хозяйствования, но мужик-то все равно остается тот же — русский, со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девавшейся волей, с его ленью и его неутоленной работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью — со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.

Да и не написал он! Не то это слово! Не будет ни обиды, ни неправды сказать, что он не был только писателем, хотя

деревенская проза и числила его своим, и сам он себя по этому «ведомству» проводил и все собирался уйти в литературу совсем. В том-то и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что он писал, играл, ставил свои фильмы, ни на минуту не выводя себя на позицию только «автора», властителя текста или киноматериала. Он всем этим *жил*. Кажется, он автором-то только и был в то краткое мгновение, когда замысел едва брезжил и горячил воображение, а как доходило до дела, то с первой строки и первого кадра он уже варился в середине действия, плача, смеясь, страдая, ненавидя, мучаясь от тоски и любви, непонимания и восторга.

Это как будто и вообще свойственно русским художникам — сбиваться на прямое участие в сочинении, но Шукшин даже в этом требовательном ряду был очевидным исключением. Теперь уже несомненно, что он был явлением подлинно единственным, не знающим подобия ни в мировой, ни в русской практике. Писателями, актерами, режиссерами в одном лице были многие, но сжатой воплощенной мыслью, живущей идеей был он один. Нет, все слова не те. Живой он был, живой!

Не потому ли в каждой отдельной области он был как бы неполон и эту неполноту чувствовал. Да и зрители, и читатели это знали и в книгах «дописывали» актера, а в актерских работах «дочитывали» писателя, все время как бы говорили себе: «Это еще что! Здорово, конечно, но вот еще послушайте, как он об этом пишет, или посмотрите, как он это играет или как он это снял...» Для коллег во всех областях он как будто был немного «дилетантом» (я слышал это даже от В. П. Астафьева, нежно любившего Василия Макаровича), и всяк из них норовил его сузить до одной профессии, к себе перетянуть. А смерть не дала.

Нам всем полегче, и мы подольше живем, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде в участники суемся, кое-что и мимо пропускаем. Посетуем про себя — вот сволочи, что делают! — но обойдем за версту. А он так и не научился этому житейскому искусству и, кажется, даже попытки не сделал выучиться, а сразу летел в самый клубок ситуации и уже махал кулаками, кричал, срывал голос и изнашивал сердце, так что в 45 лет, когда он ушел, оно, по свидетельству врачей, было как у 80-летнего. Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нем за жаркое самоосмысление, пока не разорвала его.

Это был очень народный способ существования, — почему профессионалы и подозревали его в «дилетантизме», да и сам он, по примечанию дружившего с ним Г. Буркова, был

затаенно неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Мы-то вот тоже рядом с целым человечеством живем, а нет этого зрения, этой сорастворенности, при которой другой становится тобой и мучается в тебе невысказанный, жжет тебя своей правдой, пока ты ее не выговоришь. Да и свою правду в себе не удержишь. Не оттого ли у него так часто спорят, хватают друг друга за грудки, доискиваются истины? Никаких пейзажей, никаких обстоятельных вступлений, словно и самому автору не терпится узнать, до чего договорятся герои, что им откроется. Встретились — и вперед!

Может быть, от этого и мерещился дилетантизм. Ждали «прозы», а оказывались в уличной свалке или наедине со сбившимся человеком, который без стыда выкладывает все, как на исповеди. И никак не хотели увидеть, что тут страсть сродни страстям Достоевского. Оказалось, что не в одном выморочном Петербурге мается человек, а тень этого безумного города уже и на всю Россию легла и до сибирской деревни дотянулась. Боюсь, что тут и умозрения никакого нет, а подлинно, как Петр вывихнул Россию, сселив ее в европейское болото, так выпарившаяся из этого петербургского неживого нерусского болота революция сорвала с места, казалось, навек устойчивого деревенского человека и понесла его по земле — то в город, то в тюрьму, а то и в родном вроде остался селе, а все равно будто в поле без крыши над головой. И он заводится, защищаясь, отбиваясь налево и направо, изо всех сил отстаивая себя, волю свою и право. У Достоевского-то русский человек с этой волей уже как бы лишнего требует, Бога допрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь», насилует жизнь. А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережет, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть свое отстоять, душу живую в унылом общем равнодушии не погубить.

А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой и слишком еще в нем много крепкой природной жизни, и в отличие от Достоевских сумерек все будто в полдень происходит — летит и переливается, сверкает и поет, все через край и впереворот, с бесконечной чрезмерностью. Да и по традиции у нас за мужиками иные, некрасовски-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали... А потом скулим: плохо жить», — это Ефим Валиков из рассказа «Суд».

«Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам... И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь?..» Это Иван из рассказа «В профиль и анфас».

«Вот у тебя есть все — руки, ноги... и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте... Но у человека есть также — душа! Вот она здесь — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит». Это Максим Яриков («Верую»).

Я нарочно выписываю эти косноязычные невнятности, это на интеллигентный взгляд растительное страдание, которое вроде и страданием-то не назовешь. (Не могу забыть, как по поводу другого, казаковского героя из рассказа «Трали-вали», героя вполне шукшинского по заправке, тогдашний авторитетный критик Лариса Крячко писала на мои восторги с раздражением, что ей «неинтересно слушать жалобы гориллы на ветру».) Не видел я тогда, а вот теперь из книги Коробова со злостью вижу, что она и ему крови много попортила.

Но мужики критики не читают. Впрочем, и самого Шукшина и Казакова не читают. Гонит их тоска, гнетет «незаполненная», хлябающая душа. Все время какой-то «зазор» остается, злая пустота покоя не дает. Тонкости тут мало, но боль-то, и может, и поострее интеллектуальной, потому что причины не знает и в слова не облекается (чеховскому-то да и Достоевскому страдальцу иногда довольно того, что он возьмет да и хорошо сформулирует свою боль и уже этим и развеет или хоть поослабит ее — красота-матушка по внутреннему своему милосердию спасет). А этим куда податься? Попали в какое-то межеумье, в «промежуток» — и пошло-поехало. Мачеха-история, о которой они и думать не думают, выбила их из здорового порядка жизни, осмеяла, отняла их старую наследованную жизнь, а вместо новой подсунула какую-то мякину, которая им поперек души. И вот они маются по тюрьмам, как Степка из одноименного рассказа или Егор Прокудин из «Калины красной», и дерутся, и плачут, и никому вокруг не дают покоя. На месте не постоят. У Егора это виднее всего: почти не властен в себе, душа все время обгоняет рассудок и несет его, как на огонь. Он бы все равно сгорел, сорвал жизнь, потому что ему надо всё и чтобы в этом всем сила и воля была во весь размах, в полный русский простор.

Он, он это — простор наш, бескрайность русская горит в каждой шукшинской душе. Герой «Печек-лавочек» не зря

в конце у себя на Пикете сидит, в родных шукшинских Сростках. Оттуда как раз всю Россию видать.

Мы, к сожалению, как следует этой тоски шукшинских героев не поняли. Сами еще обманывали себя затхлой стабильностью и хоть предчувствовали, что долго так не протянется, но отсиживались, тянули, надеялись на спасительное «авось». А он уже знал, что в таком «межеумье» человеку не жить. Нас обманывала форма, «одежда» героев, чудачество и дурачество их. Мы вроде и знали, что дурак на Руси один правду говорит, но как-то, как всегда, только к историческим дуракам и блаженным это относили, а на своих глядели с обычной снисходительностью «умных и знающих». А дело-то тоньше. Один умный европеец отлично заметил, что Дон Кихот — это великий человек, становящийся дураком из-за отсутствия цели. Есть тут что-то сродное. И все шукшинские «дураки» — мающиеся «без причины» мужики, у которых душа болит, и несчетные его врали, начиная с Пашки Колокольниковца («Живет такой парень») до Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам!»), вовсе не по вывиху душевному так выпадают из реальности. Они и врут-то потому, что старые связи навек порвались, а новых они не чувствуют, и вот им скучно жить, мало вялой нищенской правды повседневности. Такого вранья, пожалуй, ни на один язык не переведешь. Анекдот останется, а таким странным образом выпросившаяся наружу воля уйдет. Останется трепло и дурак, а не ненасытная душа, которая убогой бедности дня предпочтет цветистый сон и во имя этого сна не устыдится и в посмешищах походить.

Они что, не знают истинного-то своего положения? Со стороны себя не видят? Знают, знают и видят, а вот подойдет час, и опять поднимет их счастливая волна, и они вознесутся над родной деревней и проживут чужую, неслыханную, ослепительную жизнь и хоть на этот краткий миг утолят рвущуюся на простор душу. А не представится случай соврать — споют с такой силой и звоном, что вся душа в песне изойдет. Поглядите-ка, ведь чуть не в каждом рассказе песня, и в романе, и в фильме, и в «Степане» его мучительном, где под песню «охота как-нибудь вывихнуться, мощью своей уstrasшить, заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь».

Тихие и занозистые, злые и беспечные — все они как-то неуловимо походят друг на друга, будто братья. Все заводные и талантливые. И теперь, коли как следует подряд всё у него

перечитать, это особенно бросается в глаза (не зря он часто из рассказов в сценарии перетаскивал своих героев, прибавляя каждому и оттуда, и отсюда помаленьку, и они не расходились на «склеяках»). Эта похожесть в том, что все они болеют его шукшинской мыслью, живут его даром, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли, допрашивал мир о его правилах и не хотел согласиться с социальным загоном, с узкой «нишей», куда общество для своего удобства заталкивает человека и потом гонит его к смерти тесным коридором, приглядывая, чтобы он не особенно вываливался из границ. Кажется, он эти пути чувствовал непрерывно и рвал их враньем, чудачеством, прямым выяснением, дракой.

«Стеньку застали враспloch... Он любил людей, но он знал их... он делил с ними радость и горе... Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. “Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора”, — сказал он».

Он понимал Стеньку и понимал Васеку, который этого «Стеньку» делал ночами: «У Васеки перехватило горло от любви и горя... Он любил свои родные края, горы свои, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться».

И Василий Макарович любил горы свои, родные края, мать и всех людей и, как Васека, не знал, что сделать для них, «чтобы успокоиться». И делал того же Стеньку. По сути, во всех рассказах и во всех ролях и сценариях он писал его. Его и себя, которые были одно. Сколько раз писали о том, что Шукшину не дали снять «Разина», что начальство разными способами сопротивлялось запуску картины и тем, конечно, подталкивало Шукшина к смерти. Что же смущало начальство-то? Чего боялись власти в сюжете о вполне народном герое, который казался навсегда канонизированным большевистской идеологией? А смущал сам Василий Макарович, его правда, которая и в самых веселых его рассказах перла поперек и выбивала читателя и зрителя из узаконенной колеи. Воли боялось начальство.

Как Разин уже из клетки спокойно говорил, что он дал эту волю, так из своей клетки дал ее и Шукшин. Еще до «Разина» дал. И героями своими, и самим собой, бытием своим среди нас. Это особенно видно в кино: и в собственных работах Шукшина, и там, где он играл у других режиссеров — у С. Герасимова («У озера»), у Е. Панфилова («Прошу сло-

ва»), у С. Бондарчука («Они сражались за Родину»). И в чужих-то картинах это как раз особенно бросалось в глаза. Он везде как-то выпадал из «ансамбля», везде на особицу стоял. Обязательно оказывался шире персонажа, и как бы по роли ни звался, а сразу было видно, что это Шукшин и что он гнет свою правду со всей беззащитностью и прямо-той, что ему, как всегда, «больше всех надо». Его любили, и за него было как будто чуть неловко, как это всегда бывает, когда кто-то начинает ломить правду среди людей, не желающих ее слышать, — правила игры нарушает.

Вместе с тем есть какая-то мистическая предопределенность в том, что он не снял «Разина». Не в одном начальстве дело. Тут будто судьба удерживала его от какого-то главного разочарования. Не историческая картина нужна была Шукшину, не канонический народный заступник. Он воскрешал во всей силе и первоначальности неуправляемую, не подчиняющуюся закону, мятущуюся и измученную, вольную и грозную народную душу, раздувал ее из-под почти уж затянувшего ее пепла, опять готов был устыдить расслабленного человека и искусить его могучей тоской по силе и призывности. Беспокойный автопортрет ставил, и это уже пугало как социальная опасность — вот и накалились кучей те, кого он «любил и знал», и повязали по рукам и ногам, и даже казнить не стали, поняли, что самая-то страшная казнь — это как раз связанные руки. Но что-то все-таки таилось как будто и в самой мечте внутренне неосуществимое. Уж и сценарий был готов и даже отмечен премией, и каждый кадр был до детали известен, а что-то все будто дребезжало внутри и не приносило того ясного покоя, с которым уже, в сущности, и не важно, снята картина или нет. Обидно и больно от неосуществленности, но внутренне картина есть, и душа может «отдохнуть» на другой мысли. А тут она как-то неотвязно все крутилась вокруг неухватимого центра, палила душу и не умела найти разрешения.

Не знаю, может, мне это только мерещится, но не по одному «Степану», а и по большинству его вещей видно, что Шукшин оттого и страдает и не знает покоя, что вольная его душа отовсюду уходит с так и неразрешенным внутренним вопросом. Ведь этот его усталый не то крик, не то страшный шепот: «Что с нами происходит?», вырвавшийся в «Кляузе», а до этого точивший его все сознательные годы, он и в «Разине» на глубине слышен. Что гнало эту пылкую, могучую натуру? Не наши же школьные исторические обоснования! Почему его воля, такая естественная, такая сродная милому

домашнему простору, такая русская, вызревает такими дикими и часто страшными плодами, что его в русских соборах в адских котлах пишут (Шукшин окаменел, впервые столкнувшись с этим). Не оттого ли он никак не мог найти фильму удовлетворяющего финала?

Кажется, Шукшин начинал отрезвляюще сознавать, что *волю*-то, как Степан, можно дать, но с одной волей человек не живет, потому что она воспаляет и опьяняет душу и в конце концов дожигает ее, если на каком-то пределе не переходит в *свободу*, которая вовсе не родня воле, потому что строится на дисциплине и вере, любви и праве, ответственности и духовной трезвости. Похоже, «Разин» вывел Шукшина как раз к осмыслению свободы и дал особенно остро почувствовать, что от нее человек еще дальше, чем от воли, и, самое тревожное, не видит этого разрыва. Незадолго до смерти он говорил в интервью «Сибирским огням»: «Теперь, я думаю, надо обострять, обострять как можно активнее, безжалостнее. Доводить разговоры до предела...» — и дальше настаивал, что особенно высоко надо ставить «вопрос совести». Можно только предполагать, до какой степени «безжалостности» и «обострения» он мог возвысить свое творчество. Сердце указало этот предел: разорвалось ночью так стремительно, что не успела рассосаться таблетка валидола под языком. Как всегда, до предела он довел прежде всего себя.

Несколько лет назад В. Г. Распутин горько и верно написал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишённой содержания жизни видно, что не только не поддерживали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся — бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жизни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только нестыдны и неопасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неурядицы и сбои человеческой природы есть только измена настоящему существу жизни, и простодушно надеялся на опаматование человека, на выздоровление общества. Этой святой наивной верой проникнуто каждое его слово.

Он приходил напоследок показать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом данной святой полноте, и мы еще успели почувствовать это и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем мы могли быть и что предали

в себе, какая даль еще была возможна в нас, какой еще полный во весь огляд Родины простор и какая воля! О чем эти сто шестьдесят тысяч писем и кричали, словно в нем и с собой прощались, понимали, что без него не устоят. И как будто в отместку себе потом с удвоенной стремительностью покатались в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение, в теперь уже истинно «религиозное» исповедание принципа «кто был ничем, тот станет всем».

Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали странной для своих лучших детей. И теперь нам уже не дожидаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сростки, заговаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступить, есть где отдышаться, собраться с духом» — и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда».

Мы и сами следом за ним, следом за врачевавшими нас «деревенщиками» надеялись, что ничего не потеряно, что где-то ждут нас родные корни, крепкие и живые, чистые и невредимые, пока не очнулись посреди чужой страны, чужого языка, чужих нравственных законов, как в изгнании, и теперь перечитываем его со странным чувством: неужели это было с нами, в нашей России, и это мы были таким талантливым народом с такой становящейся летящей душой?

Как хороши воспоминания о нем, которые так полно и жадно, тоже будто в запоздалое утешение приводит Коровов. Люди все разные вспоминают, а делаются будто на одно лицо, и лицо это — шукшинское. Он сквозь каждого проступает, будто в каждом выводит на свет божий самое простое и здоровое, и они на минуту забывают свое актерство или писательство и становятся такими же чистыми, здоровыми, коренными людьми, каким был Шукшин, и уже через эту позабытую простоту сердца понимают и пишут его, и он выходит живой, тоже прежде всего именно открытый родной человек.

Однажды мне рассказывал о нем директор Музея С. М. Эйзенштейна Наум Клейман — человек по-эйзенштейновски предельно интеллектуальной, напряженной, какой-то уж разреженной культуры, совсем вроде далекой от Шукшина, а и у него рассказ как будто внутри скорректировался Шукшиным. Я приведу его, как запомнил, потому что каждое воспоминание дорого и хоть нового к образу не прибав-

ляет, но как бы на мгновение воскрешает живую шукшинскую душу. А это само по себе немало.

«Году в 63-м мы затеяли молодежное объединение и ездили в Сибирь “обкатывать” его. Вася вез показать землякам свой диплом “Из Лебяжьего сообщают”, а я — “Ивана Грозного”. Вася “Грозного” не любил (“Ни одного живого кадра — все башкой. У нас его и смотреть не будут”). Приехали, показали. Оба простыли. Матушка Васина Мария Сергеевна настряпала воз пельменей, и мы принялись лечиться. И как-то между делом, будто само собой, Мария Сергеевна сказала: “Не приведи Бог царем-то быть. Не пожелала бы я этого ни себе, ни Васе”. “Грозный”, оказывается, засел в ней и не давал покоя. Вася поглядел на мать, на меня и как-то счастливо хмыкнул — не удивился, а обрадовался — за мать, за земляков.

А потом мы поехали на прииски в Бодайбо. Везли нас куда-то в поселок узкоколейкой. Ночь метельная. Проектор паровозный режет снег, паровоз мотается на стыках, и луч выхватывает слева и справа вышки, проволоку, зону за зоной. Машинист привычно рассказывает: “Тут были бабы, их, если кого не хватало на поверке, сажали на снег без штанов, половина так и замерзала. А тут — мужики, этих и сажать на снег не надо было, их из шахт не выпускали...” И так километрами. Хотелось уже, чтобы он перестал. Страшная была поездка. В гостинице у нас был один номер, я включил радио, а там Яхонтов прямо с первой строки читает: “Во глубине сибирских руд / Храните гордое терпенье...” И Вася как-то сразу так тяжело, так беспомощно открыто захлебнулся слезами, что и я не устоял. И мы уже потом не забывали этого мгновения».

Для меня все эти воспоминания — лучшее подтверждение, что Шукшин был наиболее личным из русских художников. Никак не литератором только, ни актером, ни режиссером. Мы даже как будто были «умнее» его и относились именно как к младшему брату — непутевому, заводному, всякую минуту готовому загнать нас в сомнительную ситуацию, из которой неизвестно как выпутываться, но чистому душой и оттого чуть снисходительно любимому. Наше бедное интеллектуальное знание какой-то своей частью стыдилось его, как стыдятся хороших, но не умеющих повернуться деревенских родственников, а в душе мы тосковали и про себя верили, что и сами еще можем вернуться к этой здоровой наивной чистоте. Мы благодарили его за то, что он «легализовал» наше загнанное в подполье лучшее, позволил не стыдиться того, что мы торопились загородить «воспитанием» и комплексующей оглядкой на чужое суждение, на

скверно понятую нами городскую культуру, за которой уже маячила «культура рыночная».

Увы, всем последующим своим поведением мы доказали, что хватило нас ненадолго, что не устояли мы на шукшинской ноте, не помогли ему, не поддержали и в конце концов оказались все-таки раздавлены своей вечной унижительной оглядкой на «цивилизованные страны», предали свою волю и правду за чечевичную похлебку цветистой пошлости, с которой воюет ночами на книжных прилавках бедный рабочий том Шукшина. А теперь вот будет воевать и книга Коробова о нем.

Этим предательством мы не просто столкнули Шукшина в «культурные чудики», в милое, но уже невозвратное культурное предание, хотя одно это должно было насторожить нас, — мы своротили с наследованного живого народного пути и теперь надолго обречены множить только «посторонние» («как это... как свидетель»), «букеровские» книги и жить «со стороны».

Есть в воспоминаниях Юрия Скопа пронзительный и на глубине символический эпизод.

«На “Странных людях”... снималась массовка — проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом...

День выдался самое то... Человек сто, а может, и поболее вышло на расставанье. С песней... Живет в народе такая — “Последний нынешний денечек...”. Мотор! Пошли... Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тое... Позабыли, оказалось, песнь-то... Дубль, другой... Макарыч яриться начал... Пленка горит, а в результате — чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и как рявкнет:

— Вы что?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы что?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы...

И начал:

— Последний нынешний денечек... — зычно, разливно, с грустью и азартом бесшабашным за всю массовку вложилась в голос. Откуда что берется?..

И вздохнула деревня, прониклась песней...

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины тосковали: вот уж спели так спели! Ах...»

Мы все спели с ним последний раз. Теперь песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!»

И некому отозваться...

Валентин Курбатов

ОТ АВТОРА

Сейчас многие, кто берется писать для любителей российской словесности, вспоминают слова Александра Блока:

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достойным доцента,
И критиков новых плодить.

Помнил о них и я, когда работал над этой книгой, тем более что она — второе обращение автора к Василию Макаровичу Шукшину, его жизни и творчеству: в 1977 году в издательстве «Советская Россия» увидела свет моя работа «Василий Шукшин. Творчество. Личность».

Данная книга не является дополненным переизданием предыдущей, хотя некоторые ее страницы (именно некоторые) и повторяют то, что было уже мною сказано ранее.

Более всего в новой работе я стремился передать «сложность» и «праздничность» — историю души, диалектику человеческого и творческого характера Василия Макаровича Шукшина.

Насколько это удалось — судить читателю.

*Владимир Коробов,
ноябрь 1980 г.*

Часть первая



БЕЗДОМНЫЙ
ХОЛОД

*Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод.*

*Кричу, не помнящий себя,
Меж двух начал, сурово слитых.
Что ж, разворачивай, судьба,
Новорожденной жизни свиток!*

*И прежде всех земных забот
Ты выставь письма косье
Своей рукой корявой — год
И имя родины — Россия.*

Алексей Прасолов

1. НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

Больно вспоминать. Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого, было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дороге, села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел.

Шукшин. Только это не будет
экономическая статья...

«Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!» — сказано в древней, древней книге.

Он уходил тогда не только по зову сердечному (очень еще смутному). Он просто уходил. Из-за куска хлеба. Не лишнего, а насущного куска, которого не было.

Вини войну...

Но что же с ним было дальше, потом? В одна тысяча девятьсот сорок шестом году? В сорок седьмом? В сорок восьмом?... Вот — его рассказы, статьи, романы, немногочисленные сохранившиеся письма. Вот — опубликованные и неопубликованные воспоминания друзей и знакомцев. Вот — свидетельства очевидцев, легенды, слухи, анекдоты, наконец, но... Но при всем многообразии этого материала, богатого в целом на факты и даже подробности его жизни, над этими именно годами — годами «ухода» — висит какой-то таинственный покров.

О детстве своем написал и рассказал много; о том, как в школе работал, сообщил; о поступлении во ВГИК и об учебе там (особенно в последние годы жизни) тоже немало поведал; далее жизнь его — и кинематографическая, и «жителей»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

В. М. ШУКШИНА¹

- 1929, 25 июля — В. М. Шукшин родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края.
- 1933 — отец В. М. Шукшина — М. Л. Шукшин, в возрасте 19 лет, арестован ОГПУ.
- 1940 — переезд семьи в Бийск.
- 1941 — возвращение в село.
- 1942 — убит на фронте отчим В. М. Шукшина, П. Н. Куксин.
- 1943, лето — В. М. Шукшин окончил сельскую семилетнюю школу в Сростках.
- Осень — В. М. Шукшин поступил в Бийский автомобильный техникум, после года учебы бросил его.
- 1945 — село Сростки покидает И. Попов, друг В. М. Шукшина.
- 1946 — В. М. Шукшин уходит из родного села.
- 1940–1948, май — январь — работа слесарем-такелажником в тресте «Союзпроммеханизация» (Москонтора), направление в г. Калугу на турбинный завод.
- 1948, январь — апрель — работа на тракторном заводе в г. Владимире, направление в авиационное училище, в Тамбовскую область (в училище В. М. Шукшин не поступал, так как документы им были утеряны).
- 1949, апрель — август — работа слесарем, разнорабочим головного ремонтно-восстановительного поезда № 5.
- 1949, 29 октября — призыв на срочную службу в Военно-морской флот СССР, служба на Балтийском флоте.
- 1950 — курсы военных радистов.
- 1950–1952 — перевод с Балтийского флота на Черноморский. Военское звание старший матрос, военная специальность — радист особого назначения.
- 1953, январь — досрочная демобилизация с язвенной болезнью желудка по решению медицинской комиссии. Возвращение в село Сростки. Весна — сдача экзаменов на аттестат зрелости экстерном в сросткинской средней школе № 32. Первые публикации в районной газете — «Учиться никогда не поздно» (11 октября) и передовица «Больше учащихся вечерних школ» (10 декабря).
- 1953–1954, октябрь — июнь — В. М. Шукшин — директор и преподаватель школы сельской молодежи в с. Сростки (преподавание русского языка, литературы и истории).
- 1954, июнь — отъезд на вступительные экзамены. Первые черновые наброски романа «Любавины».
- 1954–1960 учеба во ВГИКе.
- 1955 — встреча с Иваном Поповым после долгой разлуки.

¹ Составлено А. В. Коробовой.

- 1956 — отец В. М. Шукшина посмертно реабилитирован.
- 1958 — первая главная роль в фильме М. Хуциева «Два Федора».
Август — первая публикация в центральной печати. Рассказ «Двое на телеге» напечатан в журнале «Смена» (№ 15).
- 1962 — получение разрешения на прописку в г. Москве.
- 1963 — первая публикация в «толстом» журнале — «Октябрь» (№ 3). Составлено А. В. Коробовой. Первая книга «Сельские жители» (издательство «Молодая гвардия»). В. М. Шукшин — режиссер Киностудии имени М. Горького. Съемка своего первого фильма «Живет такой парень» (сценарий и режиссура).
- 1965, *февраль* — рождение дочери Кати.
Получение квартиры в г. Москве. Роман «Любавины» (издательство «Советский писатель»).
- 1966 — фильм «Ваш сын и брат» (сценарий и режиссура).
- 1967 — Государственная премия СССР имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».
Май — рождение дочери Маши.
Ноябрь — вручен орден Трудового Красного Знамени.
- 1968 — сборник «Там, вдали» (издательство «Советский писатель»).
Июль — рождение дочери Ольги.
- 1969 — присвоение звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
- 1970 — фильм «Странные люди» (сценарий и режиссура).
Сборник «Земляки» (издательство «Советская Россия»).
- 1971 — за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» В. М. Шукшин удостоен Государственной премии СССР.
- 1972 — фильм «Печки-лавочки» (сценарий, режиссура, исполнение главной роли).
Роман «Любавины» (издательство «Карелия», Петрозаводск).
- 1973 — сборник рассказов «Характеры» (издательство «Современник»). Книга «Беседы при ясной луне» (издательство «Советская Россия»).
- 1974, *январь* — фильм «Калина красная» (сценарий, режиссура, исполнение главной роли).
Конец мая — В. М. Шукшин снимается на Дону в фильме С. Бондарчука «Они сражались за Родину».
Июнь — сдан в набор роман «Я пришел дать вам волю» (издательство «Советский писатель»).
2 октября — Василий Макарович Шукшин скончался во время съемок фильма «Они сражались за Родину».
6 октября — похороны В. М. Шукшина на Новодевичьем кладбище.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. М. ШУКШИНА И ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ¹

Прижизненные издания

- Сельские жители: Рассказы. М.: Молодая гвардия, 1963.
Живет такой парень: Киносценарии. М.: Искусство, 1964.
(Б-ка кинодраматургии) .
Любавины: Роман. М.: Советский писатель, 1965.
Там, вдали: Рассказы, повесть. М.: Советский писатель, 1968.
Земляки: Рассказы. М.: Советская Россия, 1970.
Любавины: Роман. Петрозаводск: Карелия, 1972.
Характеры: Рассказы. М.: Современник, 1973.
Беседы при ясной луне: Рассказы. М.: Советская Россия, 1974.

Собрания сочинений

- Избранные произведения: В 2 т. М.: Молодая гвардия, 1975;
2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1976.
Собрание сочинений: В 3 т. М.: Молодая гвардия, 1984–1985.
Собрание сочинений: В 6 т. М.: Молодая гвардия, 1992. Т. 1–3. Со-
брание сочинений: В 5 т. Екатеринбург, 1994.

Литература о В. М. Шукшине

- Апухтина В. А.* Проза В. Шукшина. М.: Высшая школа, 1981;
2-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1986.
Вертлиб Е. В. Шукшин и русское духовное возрождение. Нью-
Йорк, 1990.
Горн В. Ф. Василий Шукшин: Личность. Книги. Барнаул: Алт.
кн. изд-во, 1990.
Горн В. Ф. Василий Шукшин: Штрихи к портрету. М.: Просве-
щение, 1993.
Горн В. Ф. Наш сын и брат: Проблемы и герои прозы В. Шук-
шина. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985.
Горн В. Ф. Характеры Василия Шукшина. Барнаул: Алт. кн.
изд-во, 1981.
Горн В. Ф. Шукшин. Сростки. Пикет. Барнаул: Алт. кн. изд-во,
1994.
Емельянов Л. В. Шукшин. Очерк творчества. Л., 1983.

¹ Составлено А. В. Коробовой.

Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром. М.: Изд-во «Альпари», 1997.

Карпова В. М. Талантливая жизнь: В. Шукшин — прозаик. М.: Советский писатель, 1986.

Козлова С. М. Поэтика рассказов Шукшина. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1992.

Коробов В. И. Василий Шукшин. М.: Современник, 1984 (Библиотека «Любителям российской словесности»); 2-е изд. М.: Современник, 1988.

Коробов В. И. Василий Шукшин. Творчество. Личность. М.: Советская Россия, 1977.

Мгновения жизни: Сб. М.: Молодая гвардия, 1989.

Непросто говорить о Шукшине: Лирический венок поэтов России. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991.

О Шукшине: Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979.

Овчаренко А. И. От Горького до Шукшина. М.: Современник, 1982. Он похож на свою Родину: Земляки о Шукшине. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989.

Статьи и воспоминания о Василии Шукшине. Новосибирск, 1989. Творчество Василия Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1997.

Толченова Н. П. Василий Шукшин, его земля и люди: Лит. заметки. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1978.

Толченова Н. П. Слово о Шукшине. М.: Современник, 1982.

Тюрин Ю. П. Кинематограф Василия Шукшина. М.: Искусство, 1984. *Черносвитов Е. В.* Пройти по краю: В. Шукшин: мысли о жизни, смерти и бессмертии. М.: Современник, 1989.

Шукшинские чтения: Статьи, воспоминания, публикации. Т. 1 / Сост. В. Ф. Горн. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984.

Шукшинские чтения: Статьи, воспоминания, публикации. Т. 2 / Сост. В. Ф. Горн. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989.

Редько А. В. Василий Макарович Шукшин (1929—1974): Библиографический указатель. 2-е изд., доп. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1981.

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин Курбатов. «Не сберегли...»	5
<i>От автора</i>	18

Часть первая. БЕЗДОМНЫЙ ХОЛОД

1. На заре туманной юности	21
2. Надлом	35
3. Смятение души. Молчание	58

Часть вторая. К НЕСБЫТОЧНОМУ

1. Прорыв	75
2. Ученичество	87
3. Предварительные итоги	111
4. Дела человеческие	127
5. Первые вершины	153

Часть третья. МЕРИЛО

1. В кипении жизни	197
2. Напряжение	256
3. Почерк	292
4. Настоящее	335

Часть четвертая. ЧАС ВОСКРЕСНЫЙ

1. «Еще раз выверяя свою жизнь...»	363
2. Вещее слово	398

<i>Александра Коробова. Послесловие к прожитому</i>	408
<i>Коробов В. И. Сростки</i>	414
<i>Коробов В. И. Мария Сергевна Шукшина</i>	417
<i>Письма М. С. Шукшиной к В. И. Коробову</i>	420
<i>Неизвестное об известном. Записано Е. В. Шукшиной</i>	415

Основные даты жизни и творчества В. М. Шукшина	437
Основные издания произведений В. М. Шукшина и основная литература о нем	439

Научно-популярное издание

Коробов Владимир Иванович

Василий Шукшин:

Вещее слово

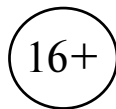
Редактор *Л. А. Барыкина*

Художественный редактор *А. С. Козаченко*

Технический редактор *М. П. Качурина*

Компьютерная верстка *Т. Мосолова*

Корректор *И. И. Иванова*



*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ*

Подписано в печать с готовой
электронной версии 13.12.2021

Формат 84×108/32

Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Newton»

Усл. п. л. 23,20

Тираж 500 экз.

Заказ №

Издательство АО «Молодая гвардия».

Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21.

Internet: <http://gvardia.ru/> E-mail: dsel@gvardia.ru

Отпечатано в АО «Т 8 Издательские Технологии» (АО «Т 8»)

г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп. 5